

Александр Бренер

Ева-пенетратор, или Оживители и умертвители



18+

Содержит
нецензурную
брань



КНИЖНАЯ
ПОЛКА
ВАДИМА
ЛЕВЕНТАЛЯ

Александр Бренер
Ева-пенетратор, или
Оживители и умертвители
Серия «Книжная полка
Вадима Левенталья»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=49203181
Ева-пенетратор, или Оживители и умертвители:
ISBN 978-5-907220-21-8

Аннотация

Новая книга художника и писателя, легендарного нарушителя спокойствия, пугала обывателей всей Европы и последнего странствующего философа современности Александра Бренера в доступной форме рассказывает о тайном смысле и прикладном значении искусства.

Содержание

Оживители и умертвители	5
Искусство	8
Шалость-освежитель	12
Между кадавром и кентавром	16
Оживительница из Сан-Кристобаля	19
Два мастера	24
Давняя лекция в академии Брера	25
Жюльен, оживитель книг	28
Подросток-умертвитель	37
Оживительница-смерть	39
Американский рассказ	41
Рассказ Альгиса	43
Кто сказал?	46
Григорий Перельман – великий оживитель	47
Одно итальянское стихотворение, на которое обратил моё внимание художник Гия Ригвава	48
Дёготь	52
Блондинка и банан	55
Джордж Джордж	58
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Александр Бренер

Ева-пенетратор, или

Оживители и умертвители

*По сравнению с животными и растениями
человек по своему поведению неприличен.*

Андрей Платонов

© А. Бренер, 2020

© А. Бренер, Б. Шурц, иллюстрации, 2020

© ИД «Городец-Флюид», 2020

© П. Лосев, оформление, 2020

Оживители и умертвители

Когда-то люди делились на охотников и собирателей.

Потом Хлебников разделил их на изобретателей и приобретателей.

Но сейчас мы уже на самой последней стадии.

Сейчас все существа делятся на оживителей и умертвителей.

Вот, например, кошка.

Она способна умерщвлять птиц и мелких зверей вроде мыши.

Но бездомный несчастный котёнок может оживить мёртвую душу.

А люди?

Главные умерщвления на Земле происходят от человека.

Человечество – Великий Мировой Умертвитель.

Вся планета превратилась в одну громадную лабораторию, где производятся старые и новые способы умерщвления.

Хорошо сказал древний отшельник: «Гуляя по горам и низинам, любясь рыбами и птицами, радую сердце своё. Ничто так не утешает, как скитания вдали от людей – там, где свежи воды и травы».

Да.

Это правда.

Ну а сам-то я кто – пишуший эти строки?

Умертвитель или оживитель?

Неплохой вопрос для всякого человечка.

Умертвитель я?

Или оживитель?

Так ведь дело в том, что меня не существует.

Моё «я» всё состоит из обломков.

И они враждуют, сталкиваются, прут друг на друга.

Один обломок вопит: «Жить!», а другой: «Умереть!»,
один скрежещет: «Деньжат бы!», а другой: «Всё к Богу по-
слать бы!»

Сплошная и бесконечная распря.

Один малюсенький обломок хочет праздновать жизнь и
оживляет мозги, зрение, сердце, сухие листья, голоса птиц,
пчелиную мумию, прохожую нимфу, тебя, читатель.

А другой, громадный, обломок умерщвляет всё, к чему
прикоснётся: совесть, страсть, память, Варьку, дождь, муд-
рость, небо.

Это дурно.

«Я» вообще нужно выкинуть из алфавита.

Нужна Идея, а не «Я» – Идея Немедленного и Повсемест-
ного Оживления Жизни.

И чтобы этой Идеей всё человечество заразилось, как од-
нажды я – гонореей.

А может, нужна нужда, а отнюдь не Идея?

Нужда в львиных лапах, оживляющих жизнь обессилен-

ных старцев?

Нужда в голом животе амазонки, чей пупок воспламеняет подростка?

Нужда в воинственном духе и непослушании строителя баррикады?

Нужда в пробуждении, которое содержится в стихах Пес-соа или в цепком мохнatom прикосновении гусеницы, случайно упавшей за шиворот?

Нужда в Еве-пенетраторе – древней богине, из чрева которой исходит могучий Змей-Оживитель?

Нужда в слонах, не скрывающих своей ярости при виде тебя, человек?

О, помяните меня в своих молитвах, оживители!

А вы, умертвители, лежите в своих могилах!

Искусство

Искусство умудрялось оживлять человека.

Как ему это удавалось?

Да так: поглядишь на «Олимпию» Мане – и обомлешь.

Прочитаешь «На железной дороге» Блока – и содрогнёшься.

Всё, что может нас оживить, собрано здесь, перед глазами, только нужно открыть эти глаза и сердце.

Я обожал чужое творчество, но не знал, как им пользоваться, – и сам захотел рисовать и писать поэмы.

Но удалось ли мне хоть раз оживить искусство?

Не знаю.

Будто и не жил!

Давно это было: человек пригласил меня сделать выставку в Милане.

Энрико Коми – так его звали – престарелый энтузиаст искусства.

Поэт, переставший писать стихи и открывший нищую галерею.

Выставлял там убогие артефакты.

Он говорил: «Эта галерея – продолжение моей поэзии и жизни».

Какой жизни, Энрико?

Иногда жизнь нужно не продолжать, а оборвать – и начать

другую!

А почему он решил пригласить меня?

Не знаю.

Возможно, Энрико думал, что я оживлю его: расчешу своими когтями его тайные неизъяснимые язвы.

Галерейка у него была малюсенькая – спичечная коробка.

Я не знал, как там стоять, как повернуться.

И какие спички найти, чтобы поджечь эту спичечную коробку?

Я решил: повешу на стены фото тогдашних президентов.

И вырезал их из газет: Ельцина, Клинтона, Ширака, Манделу и прочих.

И повесил.

На вернисаж пришли какие-то девы, студенты.

Я сел на пол посреди этой клетки, разулся.

И стал сосать на ногу большой палец.

А потом ругал грязными словами всех президентов.

Молодые люди глазели, разинув пасти.

А мне надоело.

Я вскочил и в бессильном гневе сорвал со стен фото.

Это, что ли, было моё оживление жизни?

Не знаю.

Мне стало стыдно – я выскочил из галерейки.

Быть на воздухе в любом случае лучше.

Я бежал сломя голову к белоснежному Миланскому собору.

Свернул в переулок, вижу: рестораны, бутики, камни.

Там стояли ящики с карликовыми деревцами: мандарины, лимоны.

Я – ни с того ни с сего – перевернул один ящик.

Земля вывалилась, корни дерева обнажились...

Это, что ли, было моё искусство?

Оживил я его этим?

Или просто-напросто умертвил растение?

Кто ответит мне на этот вопрос?

Ты, Энрико?

Сам я уже ничего не знаю.

Я хожу на ногах – обгоревших спичках.

Между ними болтаются мои красные яйца.

Эй, Энрико, почему бы нам не встретиться и не поглядеть друг на друга?

Посмотрели бы, как ссохлась наша душа, как оскудели мысли.

Ты меня накормил в своём доме жёлтой горячей полентой, помнишь?

Скажу тебе за это ещё раз спасибо.

Я тогда впервые попробовал это плебейское блюдо.

И подумал: «Всё же лучше перловки».

А твоя жена сидела за столом беззубая и косматая – настоящая старая ведьма.

Но она не пеняла на жизнь и глядела на тебя как на извлекателя квинтэссенции, Энрико.

Может, она верила, что мы с тобой – беспокойные оживители жизни?

Или просто доживала жизнь с неудачником-мужем?

Шалость-освежитель

Долгое время я думал, что вместо искусства нужна шалость.

И действовал в соответствии с этой идеей.

Дети оживляются от своего бесчинства.

Я следовал их примеру.

Однажды в Лондоне я забрёл в аукционный дом «Сотбис» на Бонд-стрит.

В тот день там проходил аукцион работ Дэмьена Хёрста.

Это очень, очень, очень богатый предприниматель.

И довольно заурядный художник.

Аукционный зал был полон.

Я всё-таки нашёл свободное место.

Происходили торги – как и полагается в «Сот-бис».

На подиум одна за другой выносились работы Хёрста – «Spot Paintings», «Spin Paintings», «Kaleidoscope Paintings» – и с молотка продавались.

Сбыт искусства шёл бойко.

Сперва я наблюдал с любопытством, а потом меня затошнило.

Я подумал: «Пошалою немножко».

В тот момент на продажу была выставлена большая картина с мёртвыми бабочками, влипшими в яркую краску, – живописная стряпня Хёрста из серии «Butterfly Colour

Paintings».

Клерк поднял молоточек.

Я крикнул:

– СРИ!

В переполненном зале воцарилась молчанье.

«СРИ» – это могло означать две вещи: цифру 3 (three) по-английски и слово «срать» по-русски.

Понимай как хочешь.

Клерк с молоточком обратился ко мне:

– What do you mean, sir?

А я как из пушки:

– СРИ!

И соорбил весьма идиотскую рожу: выпучил зенки, вывалил язык, пустил слюнку.

Все вокруг уставились на меня, как на чудо-юдо.

Клерк что-то проямлил, но я не расслышал.

И опять:

– СРИ!!! – во всё горло.

Они не могли понять: то ли я дебошир, то ли русский олигарх с похмелья.

Они соображали: а вдруг я страдаю какой-то душевной болезнью, но хочу купить картину за три миллиона...

Клерк попробовал торговать опять, но я остался помехой:

– СРИ! СРИ! СРИ! СРИ!

Появились вышибалы.

Они действовали деликатно: знаками попросили меня

удалиться.

Я наотрез отказался и заорал очень буйно:

– СРИ! СРИ! СРИ!

Тогда они потащили меня вон из зала.

Люди отворачивались, прятали лица.

В вестибюле возник лучезарный джентльмен в искромётном костюме:

– Are you OK, sir?

Он тоже сомневался: может, я – эксцентричный миллионер из Сибири?

А я ему в рожу:

– СРРРИИИИИИИИИИИИИИ!

Но он, кажется, не обосрался.

А жаль – это могло бы превратить его в Собаку Баскервильей.

Как сказал Андрей Платонов: «Жил с людьми, – вот и по-
седел от горя...»

И всё-таки я в тот день повеселился и ожил.

Всё вокруг ожило: люди, Бонд-стрит, город Лондон.



Между кадавром и кентавром

Один критик сказал, что я – слабый писатель.

Всегда, мол, пишу о себе, – во всех своих книжках.

О себе, о себе, о себе – а иначе, мол, не умею.

Разве это не слабая литература?

Очень слабая, – так рассудил критик.

Но это, конечно же, глупость.

Во-первых, я вообще не писатель.

Я – пишущий.

И это разделение важно.

Во-вторых, я пишу не о себе, а о некоем существе, живущем в каждом и каждой.

О «сокровенном человеке», как сказал однажды Платонов.

О Дон Кихоте, как назвал его Сервантес.

О том князе Мышкине, который родился в сердце и умер.

О душевной, внутренней твари, требующей оживленья.

Иногда это гиена.

Иногда мессия.

Иногда Чжуан-цзы.

Иногда потерянный кот.

Иногда дурачок.

Иногда шишига или ангел.

Иногда Тиль Уленшпигель.

Иногда Оливер Твист.

Иногда ёжик.

И это существо, троглодит, чудо, чудище, бестия, создание есть в каждом из нас – и во мне, разумеется, тоже.

Я верю, я осязаю: мне каждый день, каждый миг следует жить, а я не справляюсь, не смею!

Я не умею жить во весь дух, здравствовать в полную мощь, быть в живых что есть силы.

Я существую слабо и дурно.

И пишу поэтому плохо.

Я умерщвляю в себе Гека Финна и Моби Дика – исподтишка, потихоньку.

Я умерщвляю их, потакая жлобам и мерзавцам; кивая той поганой мелодии дня, что звучит отовсюду.

Я умерщвляю их, когда сыт, обут и доволен собою.

А когда я хочу оживить в себе мальчугана, сбежавшего из казармы, то ленюсь и мертвею.

Об этом вот и пишу – о падениях и неудачах, о провалах, ошибках и неспособности оживления жизни.

Но они – эти ошибки – мои-не-мои, не только мои, но и ваши.

Потому что никто вообще не справляется с оживлением жизни.

Может быть, даже Пушкин...

Я пишу о своём примере, потому что знаю его чуть лучше.

А другие пусть о своих примерах расскажут.

Понимаешь, читатель?

Задача каждой живительной книжки и каждого оживлённого слова: найти в человеке — в его сердцевине — того дикообраза, который не только ощерится всеми иглами на своего убийцу, но и откроется для становления птицей.

Иными словами: расконопатить сердце.

— Стучат в дверь!

— Стучат в дверь!

— Стучат в дверь!

Так сказал Сесар Авраам Вальехо Мендоса.

Оживительница из Сан-Кристобаля

Однажды мы с Варькой путешествовали по Мексике.

Давно это было – в прошлом веке.

На старых автобусах – из одного мексиканского штата в другой – по пыльным дорогам.

Я тогда ещё не знал, что такое глаукома, и смотрел в оба глаза.

Мексика – страна бедная, населённая непреклонным народом.

Его втаптывали в глину, в прах, в асфальт, в мусор, – а он вставал фантомом в волнах ацтекского жара.

Этот народ возникал перед нами внезапно – на пустом месте, рядом с кактусом-великаном, в голом пространстве.

Едем и видим: стоит на дороге то ли семья, то ли банда, то ли коммуна: дед, бабка, мать, отец, подростки, младенцы.

Стоят с закопчёнными лицами, с чемоданами и узлами, – и ждут чего-то.

Нашего автобуса, что ли?

Только старый индеец сел в автобус, а остальные так и остались на дороге.

И исчезли в клубах пыли.

А мы ехали, жуя маисовые лепёшки с авокадо.

Наконец оказались в штате под названием Чьяпас.
Там действовали вооружённые повстанцы – сапатисты.
Их возглавлял человек, чьё лицо скрывала маска, – Субкоманданте Маркос.

Мы мечтали: а вдруг его встретим?

И он скажет нам: «Будем вместе».

Скажет: «Станьте, как я, другими», – и мы тут же станем.

Но нет – мы не повидали Субкоманданте.

Ну и не надо.

Мы уже сами знаем, как совместить «созерцание» и «действие» на свой лад – дуралейский.

Зато вместо Субкоманданте мы встретили кое-кого рангом повыше.

Это случилось в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас.

Там я выпал из автобуса, как гнилой плод манго.

И лежал на скамейке возле автобусной станции – поближе к сортиру.

Дело в том, что у меня открылась страшная диарея.

И дико подскочила температура.

Из разверстого зада текло, текло и текло – до полного умо-ра.

Мои геморроидальные шишки набрякли и лопнули – понос окрасился кровью.

Я испортил единственные штаны, но не думал об этом.

Я был перепуган, а потом провалился в морок.

Варька держала мою голову на коленях.

И тут к нам подошла женщина – не старая, не молодая.
Коричневое лицо и резкие вокруг рта морщины.
А ещё у неё петух сидел за пазухой – рыжий петел.
Это было его излюбленное местечко.

Женщина не сказала ни слова – ни тогда, ни после.
Она оказалась немая.

Жестами она показала: «Идите за мной».

И мы подчинились – её милости, её твёрдости и её благо-
родству.

Или нужно просто сказать: её безупречному духу?
Она отвела нас к себе – в хижину, а не в трущобу.
По дороге я многократно извергся кровавой жижей.

Мы очутились в комнате, разделённой цветной занавес-
кой.

Она положила меня на узкую койку.

И принесла дымящийся мутный напиток.

Я его выпил – кисло и горько! – и вскоре забылся.

В этом доме мы провели несколько суток.

Она нас кормила чёрными бобами.

И давала мне мутный напиток.

А Варька перестилала мою постель, ведь я гадил под себя
ненароком.

Наконец понос прекратился.

Я заново родился.

Эта жизнь была словно в сказке.

Как сказал Н. О. Лосский: «Взрослый человек способен

увидеть жизнь в её глубинном аспекте, только когда выздоравливает от тифа».

Вот именно: в глубинном аспекте.

Кочет сидел за пазухой у индианки и клевал с её ладони разноцветные зёрна.

Женщина хранила молчание.

Хорошо, когда человек не ворчит, не кричит, а просто дышит, как облака и деревья.

Какие-то травы свисали с потолка – пахучие и сухие.

На глиняном полу лежала зелёная подстилка.

А в приоткрытой двери – гора навоза.

Навозные мухи влетали в комнату и гордо садились на стены.

Мухи – вестницы жизни и смерти – предвещали мне то и другое.

Там я впервые осознал присутствие жизни, смерти и ещё раз жизни.

Жизнь – она вечно чужая, а во мне – один лишь её недостаток.

Жизнь – упускаемая и упущенная возможность.

Горе мне – я родился таким одиноким!

Чтобы почуять жизнь, нужно слипнуться с ней, как навозная муха, нужно быть петухом под рубахой немой индианки.

Ощущать её запах, поступь и стук безупречного сердца.



Два мастера

Один русский писатель сказал: «В тайном замысле каждого человека есть желание уйти со своего двора, из своего одиночества, чтобы увидеть и пережить всю вселенную».

Это точно.

Во всяком случае, так было.

«Уйти со своего двора» – чтобы всю землю покрыть анафемами и осаннами, а потом раствориться в небе.

А ещё есть притча о старинном японском дзэн-мастере, проводшем долгие годы в Китае, где он постигал древнюю мудрость.

Когда этот человек вернулся в Японию, его спросили:

– Какое высочайшее знание вы принесли с собой?

Он ответил:

– Я пришёл к вам с пустыми руками.

Вот слова истинного оживителя-любомудра.

Давняя лекция в академии Брера

Увы, у меня никогда не было хорошего учителя – ни в детстве, ни позже.

Своих школьных учителей я смертельно боялся и ненави-
дел.

Мария Порфирьевна, моя первая училка, сказала маме:
– Что бы вы ни делали, из него всё равно выйдет подонок.

Учительница истории усмехалась:

– Ты думаешь, ты умный? Ты всего лишь хитрый.

А учительница математики приговорила:

– Ты бездарен, и это непоправимо.

Разумеется, такие суждения не оживляют щенка в школь-
ной форме, а умерщвляют его дух и тело.

Учителя – они почти всегда на мелких побегушках у по-
бедителей и приобретателей.

А я, щенок, взыскую великого оживления – пусть оно да-
же кончится несомненным крушением.

Учителя в большинстве своём – офисные умертвители.

Само пребывание в школьных стенах умерщвляет – как в
ведомствах, аэропортах и тюрьмах.

Прав был Аристотель, выгуливавший своих перипатети-
ков в садах Ликея.

Небо – лучший учитель.

Я это понял давным-давно – в миланской Академии изящ-

ных искусств Брера, где читал лекцию о Филонове.

Меня пригласил туда куратор с красивым именем и лицом тоскующего коршуна – Джачинто Ди Пьетрантонио.

Джачинто бывал в Москве и интересовался творчеством русского гения – Павла Николаевича Филонова.

Филонов знал, что всякий человек состоит из множества разноцветных атомов, льдинок, ризом, корпускул, хромосом, газообразных элементов, плазмид и кристалликов.

Человек Филонова весь в развалах и трещинах – и norовит раствориться в хаосмосе.

Но одновременно он твёрд как скала – как тайные письмена, в скале вырезанные.

Главную живописную идею Филонова можно выразить следующей двуединой формулой: распыление тварей во вселенской трухе – и собирание их в твердокаменную материю бытия-сопротивления.

Об этом я и говорил на той лекции: о людях-осколках и существах-валунах.

А потом вдруг почувствовал, что задыхаюсь в стенах Академии.

Не моё это дело – лекции...

Я замолк и позвал слушателей на улицу.

Там было синее-пресинее небо, а прямо напротив каменного здания Академии стоял банк с застеклёнными окнами.

В этих окнах отражались все мы: я, мои слушатели, архитектурные строения, светозарное небо, солнечное сияние...

Я вытащил из кармана штанов заранее припасённый булыжник.

И – бух! – швырнул его в банковское окошечко.

От удара стекло не разбилось, но покрылось трещинами.

Чем-то оно напоминало теперь картины Филонова.

Я посмотрел на своих слушателей:

– Каждая лекция должна кончаться именно так!

И почувствовал в животе огромное оживление.

Это было хулиганство, конечно же, – зачаточное, ребяческое.

Ну и что?

А банки, обкрадывающие людей, – разве не хулиганство?

Ещё какое хулиганство – злостное, мерзопакостное!

А вся нынешняя мировая экономика, убивающая жизнь на планете Земля?

Ужасающее хулиганство – глобальное, непереносимое.

Экономика есть главный умертвитель сейчас – самый предприимчивый.

К счастью, никто из банка тогда не выскочил, в полицию не пожаловался.

А Джачинто Ди Пьетрантонио на меня слегка за эту выходку обиделся.

И тоже был рад, что не появилась полиция.

Ну а оживился ли он в тот момент – об этом его надо спросить.

Жюльен, оживитель книг

С мёртвыми поэтами, рассказчиками и философами нужно обращаться так, словно они стоят перед тобой, как дикий зверь в чаще.

Следует учиться их дикости – в этом весь фокус.

Как говорил Сесар Вальехо: «В тот момент, когда философу вдруг открывается новая истина, он совсем как зверь».

Читатель, следуй за автором по его тайной звериной тропе – в бурелом мятежной жизни.

Книги – приключение и приглашение к поступку.

Только так их и можно читать; остальное – халтура.

Кое-кто, прочтя четырнадцать строк, засыпает.

А кое-кто планирует нападение на полицейский участок.

Это в совершенстве постиг Жюльен Купа – французский бунтарь и мыслитель.

И я тоже пытался читать, как подобает мальчишкам.

Я листал книгу «Дон Кихот», а потом выбегал на улицу и освобождал кудлатую псину, угодившую в руки собачника.

Я проглатывал «Манон Леско» и, подобно кавалеру де Грие, становился жертвой любовного недуга.

Я пожирал роман «Бесы» – и превращался в Ставрогина, хотя бы на день.

Я читал биографию Малкольма Икс и делался духовным лидером угнетённых – на каком-нибудь поганом вернисаже.

Жульен Купа был, конечно, умнее.

Мы с ним разговаривали о книгах в Париже.

А потом ели хлеб с шоколадом.

А потом он показал нам с Варькой, как жечь бастилии нынешних сюзеренов.

В то время Жюльен читал Вальтера Беньямина.

А над знаменитым философом Аленом Бадью Жюльен смеялся.

Он говорил, что иногда встречает Бадью на улице и спрашивает:

– Как там ваша метафизика?

А Бадью отвечает:

– Жива пока.

На что Жюльен:

– Да вовсе она не жива. Это вы её труп оживляете.

Что касается Жака Рансьера, то Жюльен в грош его не ставил:

– Это философия, пропущенная через мясорубку.

Зато Беньямина он читал так, словно никто его не читал во всей вселенной – до первочитателя Жюльена.

А ведь Беньямин затаскан, затрёпан, засален академиком, замусолен интерпретаторами, замордован художниками-активистами.

Но Жюльену на это было плевать.

Он выискивал в беньяминовских текстах смыслы, обращённые прямо к нему, Жюльену.

Он читал Бенямина не только глазами-мозгами, но сердцем-руками-ногами, плечами, лопатками и позвоночным столбом.

От такого чтения вырастают крылья, рога и когти и взвиваются хвост и грива.

Жюльен согласился бы на сто процентов со следующим высказыванием Платонова: «Искусство есть процесс прохождения сил природы через существо человека».

Иными словами: образы и идеи, истории и поэмы нужно переживать всем духом, хребтом и конечностями осьминога.

Жюльен проверил на себе и другую платоновскую истину: «Жизнь состоит в том, что она исчезает».

Как с этим бороться?

Осмысляя жизнь в слове.

И лучше это делать коллективно, сообща, совместно – как древние коммунисты в римских катакомбах.

Коллектив Тиккун, частью которого был Жюльен, опубликовал эссе под смешным заголовком – «ПРОБЛЕМА ГОЛОВЫ».

Там сказано, что главным провалом художественного авангарда было его заключение в черепной коробке.

«Неотъемлемой частью краха, постигшего коллективное предприятие под названием „авангард“, стала его неспособность создать мир. Весь блеск, все находки, все деяния авангарда не смогли дать ему тела; всё случилось лишь в отдельных головах, где органическое единство ансамбля расцвело

буйным цветом, но только для сознания, то есть напоказ, наружно».

Противоположностью такой показухи является форма-жизни, избегающая всякой репрезентативности, следующая своей внутренней логике, идущая путём бунта и бегства.

Художественный авангард был умерщвлён музеем; форма-жизни осуществляется под открытым небом, в тайном укрытии, в интенсивности встреч и конфликтов, в цепочках дружб, в создании орудий и техник борьбы, в уникальных обстоятельствах эпохи.

Неотъемлемой частью формы-жизни является опыт.

Книга – один из источников опыта.

У Жюльена доставало ярости, радости и упрямства, чтобы читать книги так, как того хочет любая страница: чтобы её проживали, а не жевали.

Чтобы её разжигали.

Говорят, Хлебников читал книги, отрывая прочитанные страницы.

К концу чтения книга исчезала – проглатывалась читателем.

Жюльен проживал, сжигал и оживлял мысли Ницше и Хайдеггера, Беньямина и Фуко, Делёза и Агамбена.

Он восхищался «Человеком без свойств» Музиля и «Zoo» Шкловского – находил в этих книгах счастливые дары, которыми делился.

Он сказал мне:

– «Against His-Story, Against Leviathan!» Фреди Перлмана – вот хороший способ переживать мировую историю.

А «Историю Пелопоннесской войны» Фукидида Жюльен ненавидел.

Он уважал писания Огюста Бланки – великого заговорщика и повстанца.

Он пользовался книгами как инструментами, как орудиями, как необходимым добром.

Он читал мемуары кардинала де Реца, чтобы почерпнуть в них примеры непокорства и опыт мятежной Фронды.

Он любил Кафку и назвал его коммунистом в поисках коммуны.

Жюльен верил, что писание книг трансформирует пишущего, превращает его в инсургента, в нищего, в святого, в ангела, в демона, в созвездие, в цветок.

Или в машину для писания книг – в эстетического монстра.

Не было ничего более враждебного и чуждого Жюльену, чем эстетический подход к искусству.

Он ненавидел Канта, Шиллера и Гегеля за прославление «эстетического человека» и воспринимал этих трёх ревнителей эстетики как своего рода предтеч Николя Буррио, Ханса-Ульриха Обриста и всяческих викторов мизиано – отвратительных менеджеров сегодняшней культуры.

Эстетика для Жюльена была не просто определённым режимом понимания искусства (учением о прекрасном и о вку-

се), но прежде всего разделением «искусства» и «жизни», «формы» и «содержания», «мысли» и «действия», то есть умерщвлением и выхолащиванием полноты бытия.

«Эстетика» оказалась словечком, прикрывающим ледяную враждебность биополитической Империи к жизни – в её неуправляемых формах.

Вместо жизни восторжествовала её эстетическая симуляция – в искусстве, дизайне, городском планировании, кулинарии, моде и кибернетической манипуляции.

Согласно Жюльену Купа, следующему в своём анализе по стопам Джорджо Агамбена, эстетика есть не что иное, как имперский проект фальшивого оживления умерщвлённого мира.

Жюльен связывал «эстетику» с деборовским «спектаклем», а как же иначе.

«Эстетика – это форма, которую принимает видимое слияние капитала и жизни в метрополии. Как валоризация находит отныне своё ultimo ratio в том факте, что вещь или существо нравится, так и власть, которой уже не удаётся оправдывать свои происки какими-либо отсылками к правде и справедливости, обретает самую полную и законную свободу действий, как только выступает под маской эстетики».

Эстетика, по формуле Жюльена, есть имперская нейтрализация форм-жизни там, где полиция не привлекается напрямую.

«Империя – иногда это продукт полицейского террора,

иногда эстетического синтеза».

Писания Аби Варбурга были для Жюльена противоядием против эстетической нормализации.

Он был археологом: искал в истории источники и примеры рукопашных схваток с эстетикой.

И, конечно, Жюльен прекрасно понимал, для чего сейчас печатаются всё новые, новые, новые книги – чтобы поддерживать бешенство рынка и сеять эстетическое смущение.

Чтобы читатель уже не различал, где тут жизнь, а где её умерщвление.

Жюльен хохотал над культурной разнузданностью капитала – над всеми этими плодовитыми романистами, эстрадными стихослагателями, услужливыми артистами кисти, зрелищными активистами-акционистами, телевизионными интеллектуалами, режиссёрами-кинозвёздами, корпоративными ницшеанцами, революционерами от «альтермодерна», прогрессивными критиками-ждановцами, обескровленными моделями-на-подиуме, авангардистами новейшей формации, стилизованными панками, добродетельными устроителями художественных галерей в сквотах, специалистами по улучшению окружающей среды, радетелями здоровой кухни, архитекторами-эректорами, всеблагими кураторами...

Он смеялся над нынешней многомиллионной армией деятелей культуры – над этими хищными и лукавыми прихвостнями Империи...

Он знал: слово и образ обесценены до предела, поэтому в обращении с ними нужна особая точность, строгость и резкость.

И он был строг, точен и резок.

При виде Жюльена приходило в голову: наконец-то ожил глагол во плоти, как вещали пророки.

Наконец-то кончилось одиночество Бенъямина.

Наконец-то Кафка нашёл свою коммуну.

Наконец осуществилась мечта Пессоа: сбросить одежду культурного человека и уплыть с пиратами в море.

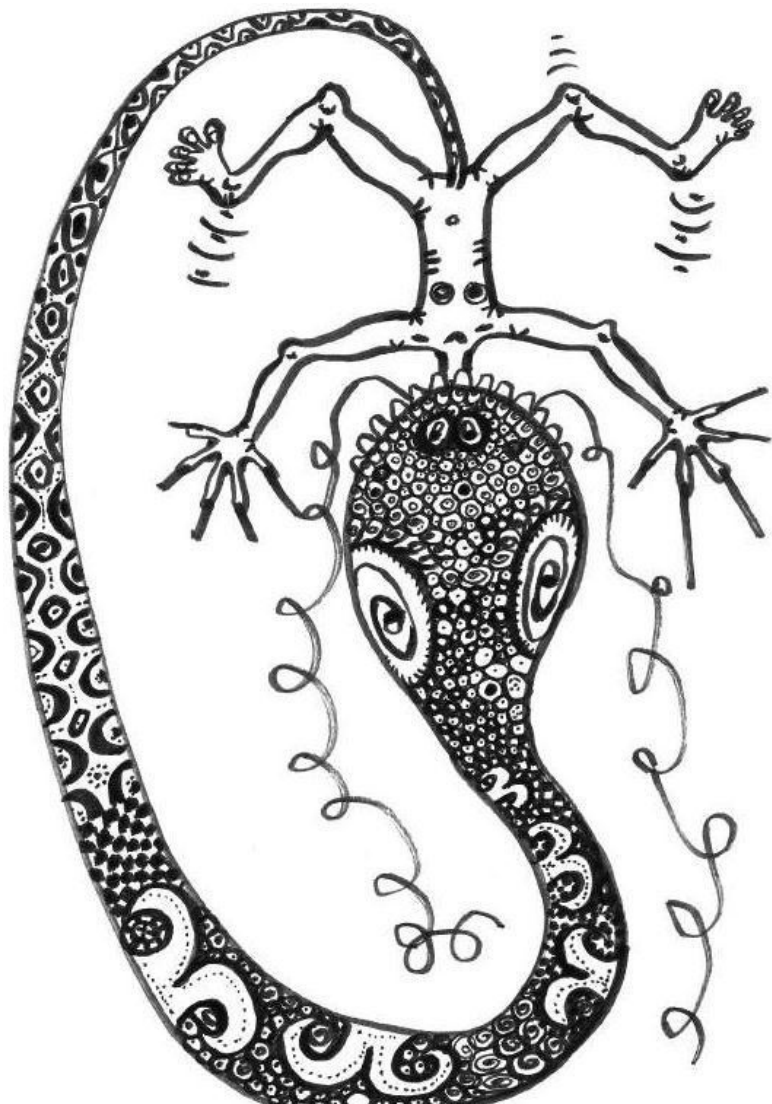
Пришёл конец изгойству Лотреамона.

И кончилось скитальчество Рембо по библиотечным полкам, кончилась заброшенность Хлебникова и Мандельштама в горах книжной пыли, кончилась изоляция Арто в дизайнерских книжных магазинах.

Больше никто не посмеет заткнуть дровами бушующее пламя.

Больше никто не сотрёт с лица Земли сырую землю.

Нет больше проблемы головы, есть лишь паралич тела.



Подросток-умертвитель

Читаю сегодня в английской газете: подростку семнадцати лет (имя не названо) предъявлено обвинение в том, что он умышленно столкнул шестилетнего ребёнка со смотровой площадки в лондонском музее Tate Modern.

Музей современного искусства Tate Modern – самая посещаемая лондонская аттракция.

Смотровая площадка находится на десятом этаже новейшей пристройки к музею, которая носит имя миллиардера Леонида Блаватника – спонсора этого архитектурного детища.

Жертва – французский мальчик, пришедший в музей со своими родителями, – упала на крышу пятого этажа и находится сейчас в критическом состоянии.

Он лежит в лондонской больнице, куда был доставлен из Tate Modern на вертолёте.

У него травматическое кровоизлияние в мозг, а также многочисленные переломы позвоночника, ног и рук.

Семнадцатилетний обвиняемый был задержан на месте преступления и предстанет перед судом по обвинению в попытке убийства.

Лондонская полиция обратилась к возможным очевидцам события: «Если вы видели произошедшее, просим вас незамедлительно обратиться к нам и дать свидетельские показа-

ния».

Одна из свидетельниц – журналистка Ольга Малевска – так отозвалась о случившемся: «Абсолютный ужас».

Ну а я – какое я имею к этому отношение?

Прочитав сообщение в газете The Guardian, я тут же вспомнил, что всегда, когда нахожусь на крыше здания или на каком-нибудь высоком балконе, хочу спрыгнуть оттуда – раз и навсегда.

Высота манит?

Смерть притягивает?

Возможно.

В любом случае: меня тянет сигануть – и в смятении я отступаю от края.

А однажды, стоя на краю зенитной башни Люфтваффе в Вене, я почувствовал искушение столкнуть вниз Варьку, державшую меня за руку.

В голове мелькнуло: потяну её за собой – и вместе кувыркнёмся, опрокинемся, грохнемся.

А ещё представилось: «Что если мы не упадём, а полетим, полетим, полетим?»

Может, семнадцатилетний в Лондоне тоже нечто подобное вообразил?

Или что там у него было в башке?

Генрих фон Клейст – вот кого надо спросить.

Оживительница-смерть

Есть старая истина: человек живёт, только когда он умирает – по десять раз за день.

Значит, смерть тоже может оживлять, а как же.

Вот я сейчас умру – и мне же станет легче.

И всем вокруг – мерзавцам и святым, клопам и бабочкам, цветам и носорогам – всем им, во мне живущим, полегчает.

Не ждать же мне, пока я стану трупом!

Я лучше уберусь в траву сейчас.

В дремучий лес, в лога, в берлогу, в чащу.

Уйду – с бездомным взглядом – без прощаний.

Но прежде я спрошу: а где же тот майор – бежавший с Колымы, убивший лагерную сытую охрану?

Где он во мне?

Неужто умер и воскреснуть может лишь в совести больной?

«Последний бой майора Пугачёва» – шаламовский рассказ о бунте, бегстве, смерти (оживительнице жизни).

Где ты, майор, – спаситель мой – где, где?

Где твой упорный поцелуй гадюки?

Где твой славянский мстительный триумф?

Сто раз я спрашивал себя: жив ли во мне тот человек в погонах, который ранним утром по весне пошёл прикончить Сталина в его хлеву кремлёвском?

Где был ты, Рокоссовский, в этот час?

Где выдержка военная была – и мысль, и смех, и кобура,
и доблесть?

Где честь мундира и восторг стрелка?

Где совесть маршала и клокотанье гнева?

Ведь ты носил наган с утра до ночи.

Так почему ты, сволочь, не убил – в любом году, в сороковом, сегодня?

А граф фон Штауффенберг – брат твой – попытался.

О, как же я – в своём масштабе мелком – хочу помочь
убить тебе, убийца.

Я осветить хочу твой твёрдый шаг, который мне дороже
всех доводов людских, всех благ и всей ничтожной славы.

Иди, иди – и прострели тот череп.

Чтоб брызнули мозги на стол, на самовар, на китель.

Чпок! – и каюк мужикоборцу-суке.

«Последний бой майора Пугачёва» – вот ветхий мой завет,
вот лучший мой рассказ, молитва, стих, помин, псалом
и притча.

Вся жизнь моя – в крошечном промежутке: меж носом,
убежавшим от майора Ковалёва, и выстрелом майора Пугачёва.

Сталин, падай!

Всем подлым сукам: умертвитесь вмиг!

Омойся кровью – и в тайгу, убийца!

Американский рассказ

Однажды я читал американский рассказ о человеке, за-
снувшем в шкафу своей гёрлфренд.

Это история первичного оживления индивида.

Итак, некто залез в шкаф, чтобы подшутить над своей воз-
любленной.

Он залёг в шкафу, расслабился и был одурманен запахами
и прикосновениями пустых одежд любимой.

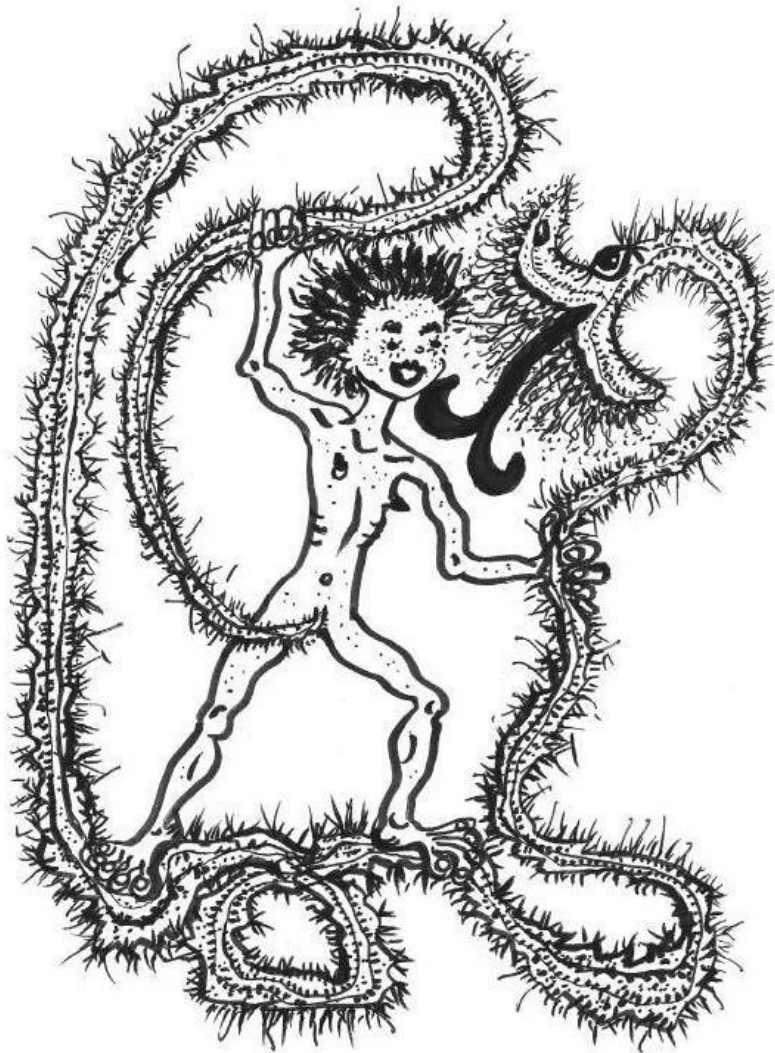
Незаметно этот человек провалился во мрак крошечный.

Неизвестно, сколько он спал, но когда проснулся, то уже
не помнил, как выглядит его гёрлфренд и как звучит его соб-
ственное имя.

Он забыл, на каком языке говорил и кто его мама.

– Abba-babba...

Зато он ощутил, что такое ночь: темнота и
звёзды.



Рассказ Альгиса

Есть на свете такой человек – Альгис.

Кто он и откуда?

Не суть важно.

Где он сейчас?

Не знаю.

Известно лишь, что он ходит с дворняжкой по кличке Рига.

Я встретил их в Цюрихе в переулке возле Лангштассе.

Там продают пиво и сидят путаны.

Альгис шёл на руках, а за ним бежала Рига.

Она громко лаяла – не от злобы, а от восторга.

Некоторые из нас до сих пор радуются жизни.

Я был поражён лёгкостью, с которой Альгис шёл на руках, и признался:

– Всегда мечтал ходить на руках, но так и не научился.

А он:

– Исполнение желаний вносит в жизнь дополнительный ад и ничего больше.

Оказалось, Альгис ходит на руках с самого детства.

А на ногах ходить так и не научился.

Мало кто в Цюрихе следует его примеру.

А стоило бы: когда идёшь на руках, небо виднее.

Альгис всегда и везде хотел видеть небо.

Но вскоре ему это запретили.

Полиция остановила Альгиса на Банхофштрассе.

Там находятся элитные магазины.

Его посадили в машину, увезли в психиатрическую больницу и положили в палату с диагнозом «шизофрения».

В Цюрихе до сих пор не знают, что усилиями Делёза и Гваттари слово «шизофрения» детерриторизировалось и стало почётным.

Шизофрения – имя древней богини?

Или название звезды из созвездия Гидры?

Я потерял Альгиса из виду.

Но однажды снова его обнаружил.

Он сидел на мостках у реки Лиммат, а рядом его Рига.

Он был бледен – в психушке недоставало неба и солнца.

Голые ступни он опустил в реку.

Указав на них пальцем, Альгис сказал:

– Теперь я хожу как Наполеон или Цезарь.

Так его научили в больнице.

Мы молчали и смотрели на текущую воду.

А потом Альгис рассказал мне вот это:

– Ночью мы можем наблюдать звёзды в небе. Говорят, что тогда мы видим Вселенную и она бесконечна. Учёные даже утверждают, что Вселенная постоянно расширяется дальше. Но существует и белый космос, который ещё больше чёрной Вселенной. Он вроде игольного ушка, в которое пролезает каждый, когда с ним случается радость или горе. Этот белый

космос похож на мягкий камушек, внутри которого мы – ты и я. Мы сидим там давно, так что уже позабыли: кто – кто. Может, ты – это я. А может, я – это ты. Мы сидим там и друг на друга глазеем. Нам уже нечего друг другу сказать, да и не надо. Зато мы прекрасно знаем, что нужно делать: обниматься. Опять. И опять. И снова. Будет больно. Но мы это сделаем, точно. Может быть, не сейчас, но позже. Когда-нибудь. Через чёрную бесконечность Вселенной.

Кто сказал?

Кто это сказал: «Юноши, скачите и прячьтесь в пещеры и в глубь моря, если увидите где-нибудь государство»?

А кто сказал: «Click... Click... Click...»?

Кто сказал: «Слушал я, слушал, господа, про что вы толкуете, и вижу, что просто вы из пустого в порожнее перепускаете»?

А кто сказал: «I came to the planet in the desert where there are tubes underground»?

Кто сказал: «Только не цинизм: мне не было бы трудно в этом признаться, но этой зги нету во мне»?

А кто сказал: «Тут ни зги света, сплошной мрак и вдобавок ещё чувствительный запах ладана»?

Ну?

А кто сказал: «Уже сумерки набежали. Между деревьями – ни зги. Я шёл, и не было цели»?

А?

А кто сказал: «Двадцать копеек послужили мне в пользу»?

Ну?

И это: «Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинною лавочкою на Щукином дворе»?

И это: «Пестуй молчанье»?

Григорий Перельман

– великий оживитель

Григорий Перельман – великий математик.

Он доказал гипотезу Пуанкаре, но я в этом ничего не смыслю.

Перельман представляется мне тем высшим существом, которое совершило ошибку, а потом постаралось её исправить.

Сначала он стал знаменитым математиком, а потом скрылся от человеческих взоров в Купчино.

Как сказал Поль Валери: «Любой великий человек запятнан ошибкой. Каждый ум, считающийся могущественным, начинает с ошибки, которая делает его известным».

И далее: «Самыми сильными умами, наиболее прозорливыми изобретателями, наиболее точными знатоками человеческой мысли должны быть незнакомцы, скупцы, – люди, умирающие не объявившись. О существовании их я догадывался по жизни блистательных людей, несколько менее стойких».

Значит, в Купчино?

В Купчино!

В Купчино!

В Купчино!

Одно итальянское стихотворение, на которое обратил моё внимание художник Гия Ригвава

Есть, оказывается, такой итальянский поэт – Bartolo Cattaui.

И у него есть маленькое стихотворение под названием
«NON SI EVADE»:

non si evade da questa stanza
da quanto qui dentro non accade

В переводе на английский:

NO ESCAPE
therés no escaping from this room
from all that doesn't happen here

А вот перевод на русский:

НЕТ ИСХОДА
нет исхода из этой комнаты
и всего что в ней не происходит

Когда я прочитал это стихотворение, то сразу вспомнил о

своём позоре.

У меня есть сын Женя.

Я его давно не видел.

А когда в последний раз встретил в Вене – испугался.

Мне показалось, что Женя похож на Франкенштейна.

Я, наверное, просто спятил.

Он не Франкенштейн, а святой, – вот как я считаю.

Мой ребёнок двухметрового роста, и он уже лысеет.

Женя, сынок, кто тебя пожалел, когда твой дед разбудил тебя в шесть утра и послал в проклятую школу?

Меня не было рядом.

И сейчас нету.

Дед твой умер, и бабка тоже.

Ты остался в Израиле один со своей мамой.

Как ты там, Женя?

Он молчит, не подходит к телефону.

Он ничего не делает – просто сидит дома.

Он спит днём, а ночью то ли дронит, то ли мечтает.

Он что-то думает, соображает, читает.

А вокруг все из кожи вон лезут – делают карьеру, стучат на компьютере, зарабатывают деньги, пишут стихи, рисуют маслом, как Игорь Шуклин, издают журнальчики, как Осмоловский, поднимаются в лифте в офис, опускаются в шахту, летят в самолёте, отравляют жизнь, смешат подружек.

А Женя ни то ни сё – сидит дома.

Что это, почему, Женя?

Он молчит – не пишет, не рисует каракули, не едет ко мне,
не летит в космос.

Он как будто знает: ничто уже не спасёт эту планету.

Он не хочет помочь ни себе, ни своему папе.

Он чувствует: оживители ушли за черту горизонта.

Оживители скрылись.

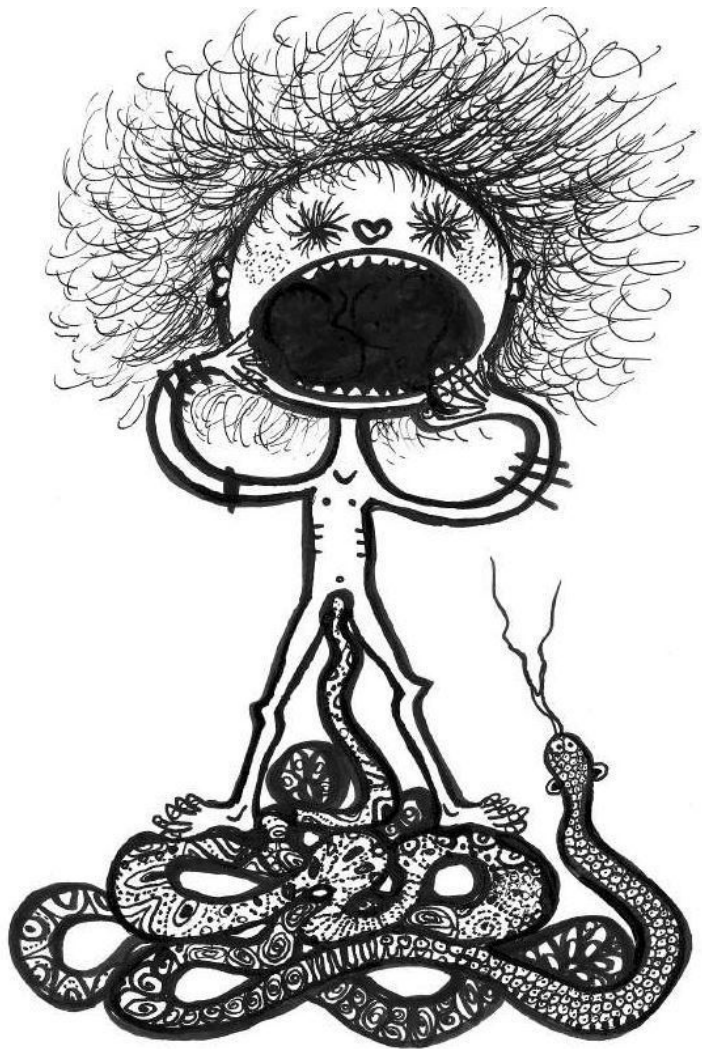
И там, в своём далеке, они выставили оленьи рога, высушили языки и копыта.

Они потрясают своими длинными иглами дикобразов.

Они молчат, и их молчание – воздух, которым мы дышим.

Без этого воздуха вода рек и озёр станет кровью и слизью.

А сейчас вода, невзирая на кровь, остаётся водою.



Дёготь

Недавно я видел художественного критика и куратора Екатерину Дёготь.

Мне нравится её имя – Дёготь.

Оно напоминает мне нечто опасное, разбойничье, чёрное, запретное, вне закона.

Но это – иллюзия, химера.

Я знаком с Катей с московских времён, с 1990-х.

Тогда она была газетной критикессой.

А сейчас работает куратором в Австрии, в Граце.

Она там важная шишка – директриса.

А я сижу в Цюрихе на скамейке.

Я – без паспорта, без гнезда, с одной только голой Варькой – торчу в жирной Швейцарии, как цыганка Чирикли.

И вот Катя приехала к нам из Граца.

Мы сходили с ней в старый ботанический сад, посидели на озере, поговорили.

Оказалось, она не хочет ни думать, ни воображать, ни оживляться.

Она не хочет быть ни разбойником, ни святой, ни вавилонской блудницей, ни маленькой девочкой Катей.

Она не хочет быть чёрным, опасным дёгтем.

Она хочет лишь одного – быть защищённой.

И так было всегда – со всеми с ними.

С Толиком Осмоловским, с Ярославом Могутиным, с Михаилом Шолоховым, с Павлом Пепперштейном, с Виктором Пелевиным, с Юрием Лейдерманом, с Андре Жидом, с Александром Серафимовичем, с Валентином Катаевым, с Анатолем Франсом, с Львом Рубинштейном, с Александром Скиданом – имя им легион.

Они хотели быть защищёнными: от веселья, гибели, дикости, мудрости, чащи.

То есть от всего настоящего – защищенными до самой смерти.

И от искусства, что ли?

Искусство – потухшее солнце.

Из-за него Сесар Вальехо умер от голода, с окровавленными потрохами, без копейки в кармане.

Когда Солнце тухнет, оказываешься во мраке, на мокрой скамейке, незащищённым.

А когда ты к Солнцу летишь на игрушечных крыльях, – сгораешь.

Все вокруг только и делают, что защищаются – от солнца, от мороза, от заразы, от головной боли, от несчастья, от священной скуки, от наводнений и засухи, от террористов, от кентавров – и от мёртвого Вальехо тоже.

Но нельзя же быть как все, Катя!

Почему ты жадна не до жизни, а до одной защищённости от оной?

Это – смегма.

Поэтому выход один: незащищённость.

Это твоё единственное спасение, пройдоха.

Ты не кулебяка и не ананас, ты – Дёготь.

Тебя не сварили в бульоне и не замуровали в урне.

Катя, почему ты так поглупела?

Почему ты ничего не слышишь – как все эти толпы?

Почему ты всё время кладёшь в свой дёготь мерзкий мёд
из пластмассовой банки?

Почему ты не подлинный дёготь?

Пойми: единственным твоим правом является право быть
ничем не защищённым дёгтем.

Непризнанным, осмеянным, презренным, заброшенным и
отвергнутым чёрным дёгтем.

А ты не дёготь, а какая-то дегтярная медовуха.

Опомнись и оживи, дорогая девочка Катя!

Блондинка и банан

Я полон людьми, как какой-нибудь удав – кроликами.

Ни одного из них я не прожевал, не переварил, не выкал.

Как можно быть наполненным неперевавленными людьми?

Это гнушно.

Я не желаю никакого знания, которое не вознаградит меня ещё большим незнанием.

Вся мудрость мира подобна речам банана, проглоченного блондинкой:

– Хочу промеж...

– Нежнее ешь...

– Ещё пожуй...

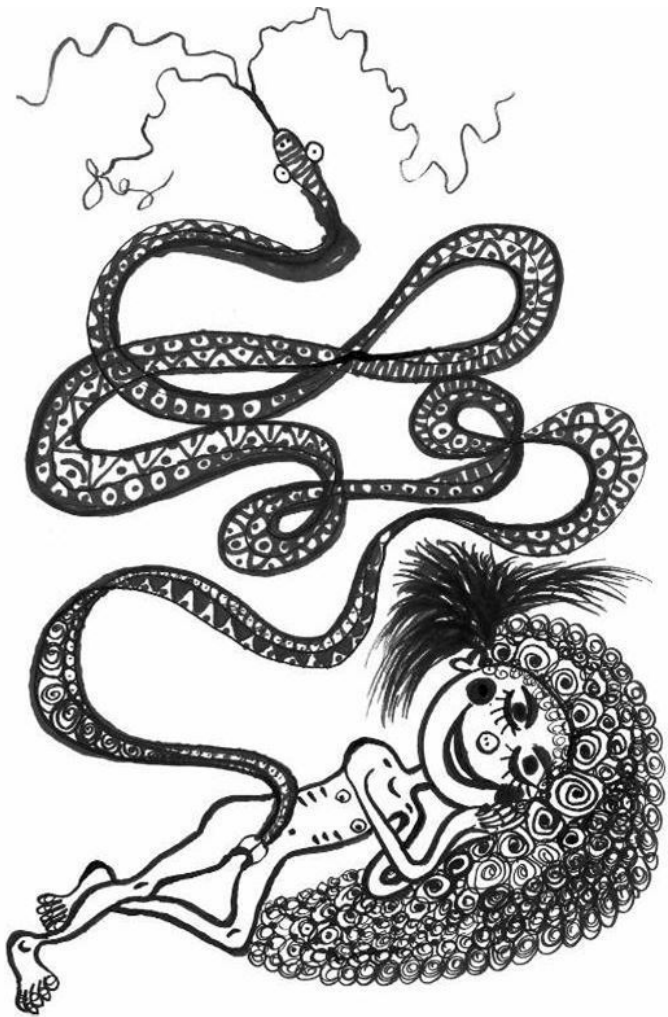
– Канализуй!

Но я не блондинка и никого за всю жизнь не пережевал, не переварил.

Ни Лёку Роденко, ни Александра Родченко, ни Римского-Корсакова, ни Рустама Хальфина, ни Сергея Третьякова, ни Сергея Кудрявцева, ни Даниила Хармса, ни Даниила Парнаса, ни Дмитрия Пригова, ни Дмитрия Гутова, ни Бориса Гройса, ни Борю Капышева...

Все застряли в горле – мёртвые, полуживые, требующие

оживления, не способные на него.



Джордж Джордж

Лишь однажды встретил я стихотворца, напомнившего мне о поэтах подлинных – об оживителях.

Звали его Джордж Джордж, и он был из Нового Орлеана.

Этот парень приблизился к поэзии благодаря своей необычной болезни – злостной и губительной.

Вот ведь как: без падучей нет Достоевского!

Прав был Тютчев: «И если бить хочу кого, то бью себя я самого».

Итак, вот моя байка.

Лет пять назад я находился в Роттердаме, где в тот момент проходил международный фестиваль поэзии.

На алюминиевых стервятниках слетелись туда разноязычные стихослагатели.

Они читали на сцене собственные стихи в порядке очереди.

А я на это смотрел не без отвращения.

Я в своём кресле начал вздрагивать, подсакивать и кричать на разных языках, обращаясь к питомцам муз:

– PFUSCH! ХАЛТУРА! QUICKIE! RAPIDITO!
SVELTINA! ТУФТА!

Этими воплями я намеревался взбесить и пробудить к жизни унылых миннезингеров.

Но они не взбесились и не пробудились, а злобно на меня

шикали и продолжали своё чтение.

Только один Джордж Джордж ничего не читал.

Потому что уже не мог.

Он страдал от ужасной болезни, которая имеет длинное латинское название (я забыл его).

Сущность этого недуга заключается в том, что все отверстия в теле больного постепенно закрываются, зарубцовываются.

Представьте себе: зарастает дикой кожей ваш анус, дырка в пенисе закупоривается, уши, рот, глаза, ноздри – всё забивается.

Эта болезнь поддаётся излечению только на ранней стадии.

А поэт Джордж Джордж свою хворь запустил.

Когда он прилетел в Роттердам, то мог ещё слышать, а вот испражняться и мочиться, видеть и говорить уже не мог.

Сырое мясо затянуло его мочеиспускательный канал и задний проход.

Произошла закупорка глаз – они слиплись.

И губы сомкнулись – стали одной непроходимой губой, а точнее губищей.

Такое могли бы изобразить Сальвадор Дали, Луис Фернандес или Рене Магритт, но они опоздали – это уже было изображено в медицинских атласах одиннадцатого столетия.

А потом эта редчайшая болезнь на несколько столетий исчезла из поля зрения медиков.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.